

М. Е. Салтыков-Щедрин

Неоконченное

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 82-3
ББК 84
С16

С16 **Салтыков-Щедрин М.Е.**
Неоконченное / М. Е. Салтыков-Щедрин – М.: Книга по Требованию, 2012. –
96 с.

ISBN 978-5-4241-3361-9

Михаил Ефграфович Салтыков-Щедрин, гениальный художник и мыслитель, блестящий публицист и литературный критик, талантливый журналист, был одним из самых ярких деятелей русского освободительного движения.

Его дар - явление редчайшее. трудно представить себе классическую русскую литературу без Салтыкова-Щедрина.

ISBN 978-5-4241-3361-9

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2012

© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2012

НЕОКОНЧЕННОЕ

<В ЧИСЛЕ ФИЛОСОФСКИХ УЧЕНИЙ...>

В числе философских учений есть одно, которое в пошехонской среде пользуется особенной популярностью. Это учение гласит, что в конце концов добро неизбежно восторжествует, а зло посрамится. И тогда будет всем хорошо.

Каким образом и в какой срок совершится эта метаморфоза — на этот вопрос пошехонцы ничего определенного не отвечают. Они говорят только, что ежели от начала веков идет процесс водворения в мир добра, то нет резона не продолжать ему своего действия и на предбудущее время. Вспомните и сравните.

По всему, однако ж, видно, что метаморфоза посрамления зла совершится как будто сама собой. Пошехонцы будут сидеть у моря и ждать погоды, а в это время где-то «там» будет вертеться какое-то колесо. Вертится, вертится, и вдруг — трах! — приехали!

Самая это покойная философия. Ни почина, ни солидарности, ни ответственности — ни о чем подобном и в помине нет. Даже горестей волнений и негодований не полагается — потому что все равно добро и правда свое возьмут. Пускай «враг горами качает» — надорвется; пускай неправда ковы кует — для себя же она готовит их. Не бывать тому, чтобы зло не посрамилось, не уступило, не исчезло! Не бывать!

Но что важнее всего, философия эта нимало не мешает обыденному течению жизни. Все другие философии мешают, тревожат, а эта — нет. Благодаря ей можно на самые конкретные явления смотреть как на преходящие, как на «дурной сон». Покуда пошехонцы исправляются по домашности — все пройдет: и неурядицы, и недомогания, и даже прямые злодеяния. Каждый может спокойно сидеть под своей смоковницей, улаживаться как ловчее и вести свою жизненную линию, в твердой уверенности, что добро свое дело сделает неупустительно.

Я охотно соглашусь, что уверенность в неизбежном торжестве доброго начала над злым сама по себе весьма симпатична, но не следует забывать, что она отнюдь не составляет исключительной принадлежности пошехонского мирозерцания. Вообще всем людям свойственно стремление к добру. Все люди сознают, что только прочное водворение добра может обеспечить пользование благами жизни, но не все одинаково относятся к самому процессу водворения. Одни полагают в этот процесс все свои физические и духовные силы, так сказать воспитываются в добре для добра; другие ограничиваются платоническими пожеланиями. Одни под личную ответственностью созидают посильную сумму блага и, раз сделавши известное приобретение, стремятся претворить его в непререкаемый факт; другие — урывками и исподтишка крадут у жизни случайно выбрасываемые на дорогу крохи и ничего из этих легких приобретений извлечь не могут, кроме праздных и бессодержательных ликований.

К сожалению, пошехонцы принадлежат к числу последних.

Едва запахнет в воздухе «благими начинаниями» — сейчас они тут как тут. Суетятся, поздравляют друг друга, земли под собой не слышат, кричат: «Бог послал! бог послал!» И в то же время не налюбуются друг другом, только что во всеуслышание не говорят: «Посмотрите, какие мы благородные! как мы сочув-

ствуем!» Но вот потянуло откуда-то гарью — и картина мгновенно меняется. Пошехонец мгновенно смолкает, озирается и жмется к сторонке. Не вступает на путь действительной измены, но ренегатствует страдательно; не идет прямо на совет нечестивых, не ежемгновенно жаждет провалиться сквозь землю. И в то же время опять-таки только что не говорит: «Вот какой я благородный! знаю, что в худых делах участвовать стыдно!»

А стоять в недоумении и хлопать глазами — не стыдно!!

МЕЖДУ ДЕЛОМ

(Продолжение)

Свидание с Износковым произвело на меня скверное впечатление. Есть в жизни условия, на которые лучше не открывать глаз; неприятно и унизительно бродить в темноте, но еще неприятнее и унизительнее получить такие разъяснения, которые не только не устраняют темноты, но представляют ее как неотвратимый факт и не дают никакой надежды на выход из нее. В жизни русской литературы есть тайна, и на дне этой тайны сидит «шлюющийся» русский человек, из породы тех, которых в просторечии называют прохвостами. Этот человек, праздный, невежественный, не знающий, куда преклонить голову, поглощенный интересами жилетов и штанов, — этот человек имеет какое-то соприкосновение с литературой, воздействует на нее, и ежели не произносит прямо <Quos> vos ego¹ — то потому только, что русский язык выработал гораздо более целесообразное выражение: в бараний рог согну. Этот человек игнорирует литературу (он даже не без смеха говорит: я по-русски давно ничего не читаю), но, взамен того, презирает ее. Этот человек неразвит и невежествен до бестияльности, но так как на нем штаны от Тедески и сюртук от Жоржè, то этого достаточно, чтоб он присвоил себе название представителя культурного слоя. Он — человек культуры, а литература — это сброд темных и подлых людей, не имеющих об культуре никакого понятия! И что всего страннее, этот человек чувствует, что он сила, что он и ему подобные представляют в некотором смысле «контингент»... Не сказка ли это?

Если б Износков был единичным явлением, он был бы только скучен, но безвреден; но двое Износковых уже не безвредны, потому что вдвоем они могут уже комплотировать. Пойдите дальше, представьте себе целый легион Износковых, которым, по причине их праздности, ничего не остается, как комплотировать, — и вы убедитесь, что тут есть уже действительная опасность, что это своего рода дамоклов меч, постоянно висящий над головой. Насколько достойны посмеяния эти люди, взятые поодиночке, настолько же страшны они, взятые скопом.

Говорят: литература уклонилась от благородного пути, что она пошла путями извилистыми и подлыми, путями, угрожающими утопить историческую русскую культурность в хаосе наплывных элементов, не имеющих ничего общего с культурою. Но позвольте же, милостивые государи! Во-первых, все это одни слова, опровергаемые вашим собственным наивным признанием, что русская литература для вас terra incognita,² а во-вторых, позволительно еще усомниться, кто имеет больше прав указывать путь, которым должна следовать литература: сама ли литература или так называемые люди культуры, то есть люди культуры, потолику-посколику надетый на них фрак удовлетворяет последним требовани-

ям портного искусства?

Нет, дело не в путях, а в том, что задачи новой русской литературы сделались строже и яснее. Литература не забавляет больше, а призывает к самосознанию и к делу. Как бы ни многообразны и несходны были понятия о предстоящем деле — все-таки дело, а не безделье представляет литературный *point de mire*.³ Вот тот нож вострый, который так не по нутру «шлющимся» людям. Им противна самая мысль об «деле»: даже такое дело, как дело «Домашней беседы» — и то тяжело, непосильно для них. И вот почему они так охотно останавливаются на «заблуждениях», маскируя этим словом самую простую ненависть к делу. Если б литература по-прежнему вела речь об улучшении быта безделицы — она могла бы блуждать и заблуждаться в этой области сколько угодно; но она блуждает в какой-то совершенно новой области, именуемой «делом», — и вот это возбуждает против нее целую бурю негодований и сквернословия!

И между тем влияние этих людей на литературу бесспорно и решительно. Ради их она утопает в недомолвках и оговорках, ради них она сохраняет Езоповские формы. Где она найдет для себя противовес, на который она могла бы опереться в борьбе с людьми культуры? Где тот читатель настолько сильный, чтоб она могла ожидать от него защиты и спасения? Ради их... но ради их ли одних? Вот Глумов уверяет, что культурные «герои» безделицы далеко не одиноки в этом случае; что и русские ученые, и русские исправники, и русские прокуроры, и русские сотские — все одинаковым образом относятся к русской литературе, то есть все высокомерно ее игнорируют, и в то же время все видят в ней или буффонство, или угрозу.

Что господа исправники относятся к русской литературе недоверчиво — это довольно понятно: им и без того дела по горло. Никогда еще вопрос о мерах ко взысканию недоимок не получал такого развития, и в то же время никогда так пропорционально мерам взыскания не развивались самые недоимки. Чем больше стараются взыскивать, тем больше получается поводов для дальнейших стараний. Вся жизнь сгорает в бесплодных усилиях «очистить уезд» и ради этой перспективы забываются и комфорт, и личные интересы, и даже семья. До литературы ли тут, когда поесть путем времени нет? Притом же литература ведет себя как-то странно: она говорит о производстве и накоплении ценностей, об истреблении же их умалчивает. Вопрос: что такое продажа крестьянской коровы ради уплаты недоимки? Есть ли это производство ценностей или истребление их? Вот что должна решить литература и решить непременно в смысле производства, а не истребления, а до тех пор, покуда это не будет сделано, все декламации литературы о производстве и накоплении будут не что иное, как личное оскорбление господ, на заставах команду имеющих, и вся литература — сквернословием.

То же самое должно сказать и относительно господ прокуроров. Они тоже всецело заняты ограждением общества от наплыва неблагонадежных элементов, и тоже чем больше стараются оправдывать доверие начальства, тем больше получают поводов и впредь стараться оправдывать начальственное доверие. И для них возникает вопрос: что такое преследование и ловля неблагонадежных элементов? есть ли это производство и накопление умственных ценностей или же истребление таковых? И дотоле пока литература не разрешит этого вопроса в пользу производства, до тех пор она будет сквернословием и опасным буффон-

ством.

Но ученые — ведь это цвет интеллигенции; им не нужно ни недоимки взыскивать, ни преследовать неблагонадежные элементы. Интересы науки и интересы литературы должны быть одни и те же, ибо литература только популяризирует результаты, добытые наукой, заботится о применении их к практике жизни, обмирщает их, делает общим достоянием. Или, быть может, эта-то популяризация и кажется подозрительною? Или, быть может, с идеей популяризации соединяется темное предчувствие обличений в бесплодности некоторых усилий, в их совершенной оторванности от жизни, от мира явлений, рассматриваемого как гармоническое целое?

И мне невольно припоминались некоторые «ученые», с которыми мне случалось встречаться в жизни. Один из них, возвратившись с какого-то археологического съезда, хвастался, что по окончании работ съезда был устроен банкет и что на банкете этом пили из урны, в которой некогда был заключен прах Овидия.

— Вы в этом уверены? — спросил я его.

— Еще бы не быть уверенным, коль скоро я пятнадцать лет употребил на то, что Овидий умер в Полтавской губернии, в имении, принадлежащем Ивану Иванычу Перерепенко, который и доставил на съезд урну.

— И слаще было вино из этой урны?

— Слаще-с, — сухо ответил он мне и с такою ненавистью взглянул на меня, что мне сделалось страшно.

Другой раз другой ученый хвастался тем, что он окончил давно задуманное сочинение «Домашний быт головоастиков».

— Понимаете, я дальше головоастиков не иду, — говорил он мне, — из головоастиков образуются лягушки, но это уже не моя область, а область моего почтенного друга Семена Семеныча Грустилова.

— Так что вы на всю жизнь предполагаете остаться при одних головоастиках!

— На всю-с, — ответил он мне и, шаркнув <?>, сухо раскланялся <?>.

В числе моих товарищей по школе был некто Никанор Полосатов. В то время об ученом сословии в обществе существовали совершенно особенные понятия, очень недалекие от тех, выразителями которых были пресловутые Цыфиркин, Кутейкин и Вральман. Ученый человек представлялся в виде неряшливого существа, облеченного в фризовую шинель с бесчисленным количеством воротничков и заплатанные сапоги, существо, от которого постоянно несло смешанным запахом водки и чесноку. Фигура Полосатова-мальчика как-то странно напоминала собой этого фризowego ученого. Несмотря на то, что он был одет в казенную курточку и пил и ел то же, что пили и ели и прочие воспитанники «заведения», но при взгляде на него всякий говорил себе: как смешон этот маленький педант в своей желтой фризовой шинели с множеством воротников. Он был рассеян и ходил, словно в лесу; не кстати спрашивал, не кстати отвечал; внезапно начинал хохотать и внезапно же впадал в угрюмость. Когда учитель реторики объяснял, что всякую мысль следует развивать при помощи вопросов: *quis, quid, quomodo, quando*⁴ и т. д., — то это поразило. Когда дальнейшее обучение объяснило, что каждое явление может быть рассматриваемо с различных сторон, с одной стороны то-то, с другой стороны то-то, с третьей то-то, — то это поразило его еще более. Казалось, что он уже с малолетства облюбовывал ту бездну пустословия, которая открывалась перед ним, при помощи рекомендуемых с кафед-

ры приемов и что воротнички его фризовой шинельки трепетали при этом от восторга. Одна истина вдвигается в другую, другая в третью и т. д., покуда не образовался целый лес истин, в котором он и гулял. Это был очень удобный механизм вроде клавикорд, в которых каждую клавишу можно вынуть и заменить другою. Когда мы перешли на последний курс, последовала в русской уголовной практике реформа: четыреххвостный кнут был заменен треххвостною плетью. Полосатов, который перед этим только что окончил сочинение на тему: «Кнут, перед судом правды и справедливости», в котором доказывал, что злая воля преступника ничем другим не может быть так совершенно удовлетворена, как кнутом, — вдруг переменял клавишу, и на место старой вставлял новую: «Плеть, перед судом правды и справедливости», причем, предпослав упражнению жестокую полемику с кнутом, доказал самым наглядным образом, что совсем не кнут, но именно треххвостная плеть есть наилучший ответ на требования, предъявляемые злою волей преступника. И чем старше он делался, тем с большею легкостью вынимал и вставлял клавиши, так что под конец заслужил уважение не только со стороны профессоров, но и со стороны директора заведения, старого генерала, страстно любившего фехтовать и потому полагавшего, что всякая наука должна обучать своих адептов ловким ударам и умению обмануть противника.

После выхода из школы я потерял из вида Полосатова: он остался в Петербурге, я запропастился куда-то вглубь. Но я никак все-таки не думал, что из него выйдет ученый. Я полагал, что он сделается со временем отличным начальником отделения и будет с изумительною ловкостью вынимать и вставлять клавиши по манию директора департамента. Захочет директор написать: «с совершенным почтением имею честь быть» — он напишет: «с совершенным почтением имею честь быть»; захочет директор написать: «примите уверение в совершенном почтении» — он напишет: «примите уверение в совершенном почтении». «И преданности», — прибавит директор — «и преданности», — повторит и он. Увы! я совершенно упустил из вида ту фризую шинель, которую я видел на нем в школе, видел, несмотря на то, что в натуре ее не было.

Лет через двенадцать я воротился в Петербург и узнал от Глумова, что Полосатов сделался ученым, что он служит в трех министерствах, но не как тягловой работник, а как эксперт от науки. Это было время нашего возрождения; время возникновения акционерных компаний и неслыханного развития железных дорог. Полосатов прежде всего обратил на себя внимание сочинением «Оплодотворяющая сила железных дорог», в котором очень тонко насмеялся над гужевым способом передвижения товаров и людей и доказал, как дважды два четыре, что с развитием железных дорог капитал получит такую быстроту обращения, что те проценты, которые до сего времени получались с него один раз, будут отныне получаться десять, пятнадцать, двадцать раз. Всем тогда показалось это просто и удивительно. Просто, потому что ведь и в самом деле... Это так просто! Удивительно, потому что в самом деле странно как-то, что до Полосатова никто и не догадался подумать об этом. Мне и самому, когда я читал сочинение Полосатова, показалось оно какою-то Шехеразадою. Катится-катится капитал по железной дороге с быстротою молнии, получает проценты, потом катится назад и опять получает проценты, опять и опять катится...

Потом он написал еще статью: «Единственный в своем роде случай», в кото-

рой, указывая на неистощимые богатства России и упрекая соотечественников в недостатке предприимчивости, приглашал мелких капиталистов употребить свои сбережения для образования акционерных компаний, которые одни могут вырвать промышленное дело из рук невежественных толстосумов-рутинеров, монополизировавших производительные силы России в свою пользу. Эта статья окончательно установила репутацию Полосатова как ученого и произвела такое впечатление на маленьких капиталистов, что некоторые из них, не имея собственных сбережений, стали воровать таковые у других с единственной целью вручить их специалистам по части разработки недр земли. И это сочинение я прочел, и тоже мне показалось так просто, так просто. Собрал свои сбережения, отдал их какому-нибудь Ивану Иванычу, и затем гуляй себе да погуливай в Петербурге. Ты гуляешь, а там где-то у черта на куличках откармливаются на твои денежки бесчисленные стада четвероногих, из которых получается мясо, сало, кожа, рога; из мяса приготавливаются консервы, из сала вырабатываются стеариновые свечи, из кож — обувь, из рогов и костей — клей. А через год у тебя в кармане тридцать процентиков! Да-с! тридцать процентиков за то только, что ты гулял в Петербурге да последовал приглашению ученого Полосатова!

Но мне все-таки казалось, что Полосатов не более как гороховый шут, который потому только воспользовался дипломом ученого, что прочая-то культурная братия чересчур уж невежественна. Это убеждение было до того во мне сильно, что когда я в первый раз после долгой разлуки встретил его на улице, то, вместо того чтоб броситься к старому товарищу на шею, я вдруг предложил ему вопрос:

— Послушай, Полосатое, ты, кажется, ученый?

— Да, душа моя, — ответил он мне скромно, — то есть не гелертер, но ученый в хорошем значении этого слова. Ты понимаешь: для нас спасение в одной науке! В на-у-ке! — прибавил он строго и с расстановкой.

Я смотрел на него и ничего не понимал.

— Я стою на практической почве, — продолжал он, — я не понимаю немецкого взгляда на науку; по моему мнению, наука прежде всего должна искать применений. Конечно, ты читал мои статьи — их все читали. Но твое мнение для меня особенно важно, потому что ты профан. Я пишу для профанов, понимаешь ли? — для про-фанов!

294

Последние слова он почти выкричал и при этом взглянул на меня не то нагло, не то лукаво, так что мне сделалось очень неловко. Но он даже не выждал моего ответа и опять продолжал:

— Главное достоинство моих статей заключается в том, что они затрагивают ближайшие интересы, такие, которые поймет всякий, у кого в кармане лишних сто рублей. Эти сто рублей мне нужно, потому что я хочу их отдать производительности. Я хочу, чтоб на них получилось еще сто рублей. Ты понимаешь? Сто ру-блей!

— Да, мне и самому иногда казалось... — пробормотал я, чтоб что-нибудь сказать.

— Да? так ты, значит, читал? Не правда ли, что все очень просто? И многим, как и тебе, это кажется просто! А между тем это совсем не просто... А впрочем, я очень рад, очень рад! Приходи ко мне по середам: у меня собираются ученые... А куда прощай!

Мы расстались, и я опять потерял его из вида надолго. С тех пор он успел остепениться, и хотя ни одно из его предсказаний не исполнилось, но репутация ученого так и осталась за ним.

ЗАБЫТЫЕ СЛОВА

Мне чудилось (не то во сне, не то наяву), что невидимая, но властная рука обвила меня и неудержимо увлекает в зияющую пустоту. Я сознаю себя беспомощным и даже не пытаюсь сопротивляться загадочной силе, словно нечто роковое ждет меня впереди. И чем глубже я погружаюсь в необъятную даль, тем унылее становятся перспективы, тем быстрее свет сменяется сумерками, тем решительнее потухает вселенская жизнь под игом всеобщего омертвения.

Серое небо, серая даль, наполненная скитающимися серыми призраками. В сереющем окрест болоте кишат и клубятся серые гады; в сером воздухе беззвучно реют серые птицы; даже дорога словно серым пеплом усыпана. Сердце мучительно надрывается под гнетом загадочной, неизмеримой тоски.

Удручают серые тоны, но еще более удручает безмолвие. Ни звука, ни шороха, ничего, кроме печати погибели. И чем больше я углубляюсь в это оголтелое царство, тем более всем существом овладевает оторопь и сознание отупелой безнадежности, в которой все кругом застыло и онемело. Ощущение оскудения постепенно заползает во все существо, и я начинаю чувствовать, что недалек тот момент, когда и внутри меня все омертвеет.

Но вот я и у цели: передо мною кладбище. Точно взволнованное море, раскинулось оно на необозримое пространство вдаль и вширь, усеянное бесчисленными могильными насыпями. Заброшенность и одичалость везде наложили здесь печать свою. Храм, когда-то осенявший мертвецов, стоит полуразрушенный, с раскрытым куполом, давая приют нетопырям и ночным птицам. Колокол, некогда призывавший живых и оплакивавший мертвых, лежит разбитый у подножия храма; надмогильные памятники, ограды — все повалилось и лежит разбросанное, заросшее мхом и бурьяном.

Кажется, сам ветхий Адам сложил здесь свои кости. За ним последовали поколения за поколениями и наслоились одно над другим, пока наконец земная утроба не насытилась мертвецами.

АВТОБИОГРАФИИ

I

ЗАПИСКА 1858 г.

Михаил Евграфович Салтыков родился 15 января 1826 г. Тверской губ<ернии>, Калязинского уезда, в имении отца своего, селе Спасском. Образование получил в Императ<орском> Царкосельском (впоследствии Александровском) Лицее, где и кончил курс в 1844 г. (XIII курса). Но прежде того, с 1836 по 1838 г. воспитывался в Московском Дворянском институте (прежде бывший Университетский пансион), откуда и переведен в Лицей за отличие в науках. Начал писать еще в Лицее, где за страсть свою к стихотворству претерпевал многие гонения, так что должен был укрывать свои стихотворные детища в сапоге, дабы не под-

вергнуть их хищничеству господ воспитателей, не имевших большого сочувствия к словесным упражнениям. В то время Лицей был еще полон славой знаменитого воспитанника его, Пушкина, и потому в каждом почти курсе находился воспитанник, который мечтал сделаться наследником великого поэта. Первое напечатанное стихотворение было: «Лира» («Библиотека» для чтения» 1840 г.); потом несколько стихотворений было напечатано в «Современнике» 1843 и 1844 годов. Прозаические сочинения были печатаемы в «Отчественных» записках» 1847 и 1848 г., где в это же время, а равно и в «Современнике», было напечатано несколько рецензий Салтыкова. С 1848 по 1856 — в литературной деятельности перерыв. Служил с 1844 по 1848 г. в Канцелярии Военного министерства; с 1848 по 1856 — в Вятской губернии в качестве чиновника особых поручений при губернаторе и советника Губернского правления; с 1856 г. чиновником особых поручений при Министерстве внутренних дел. Критические статьи о «Губернских очерках» были помещены: в «Современнике» и в «Отчественных записках»; больше не знаю. В 1857 г. вышло два издания «Губернских очерков»; первое разошлось в течение одного месяца. Для характеристики взгляда писателя можно указать на следующие очерки: «Скука», «Неумелые» (конец), «Озорники» и «Дорога».

М. Салтыков

II

ЗАПИСКА 1874 г.

Михаил Евграфов Салтыков родился 15 января 1826 года, воспитывался в Императорском Царскосельском Лицее, откуда вышел в 1844 году. Начал службу в Канцелярии военного министра, продолжал в Вятском Губернском правлении с апреля 1848 года, возвратился в Петербург в январе 1856 г. Первая повесть в «Отчественных записках» 1847 г., № 11 — «Противоречия».

Умер ()

III

ЗАПИСКА 1878 г.

М. Е. Салтыков родился 15 января 1826 года в селе Спас-Угол Калязинского уезда Тверской губернии. Родители его были довольно богатые местные помещики. Учиться грамоте Салтыков начал семи лет, а именно в день своего рождения — 15 января 1833 года. Первым учителем его был крепостной человек, живописец Павел, который, с «указкой» в руках, заставлял его «твердить» азбуку. Затем, в 1834 году, вышла из Московского Екатерининского института старшая сестра его Надежда Евграфовна, и дальнейшее обучение Салтыкова было вверено ей и ее товарке по институту, Авдотье Петровне Василевской, поступившей в дом в качестве гувернантки. Кроме того, в образовании Салтыкова принимали участие: священник села Заозерья, Иван Васильевич, который обучал латинскому языку по грамматике Кошанского, и студент Троицкой духовной академии, Матвей Петрович Салмин, который два года сряду приглашался во время летних вакаций. Вообще нельзя сказать, чтоб воспитание было блестящее, тем не менее